

ВИКТОР ЛИННИК

## НЕОКОНЧЕННЫЙ ДИАЛОГ С ВИКТОРОМ АСТАФЬЕВЫМ

### Встречи и письма

Почему творчество “окопников” и “деревенщиков” с годами стало в глазах огромной части читающей публики магистральным направлением нашей словесности? Да потому, что именно через русский народ впервые в нашей истории рассказал о себе сам, устами своих сказителей, своих Гомеров и Гесиодов. Минули на Руси эпохи дворянской и аристократической литературы, разночинной и купеческой, пролетарской с её многочисленными “попутчиками”, а русский народ всё дожидался часа услышать правду о своей жизни и судьбе от своих сказителей — от сохи, из крестьянской избы, плоть от плоти народной, знавших мужика не как баре, пусть и сочувствующие, вроде Льва Толстого, не как разночинные интеллигенты, вроде Чехова или Горького, взиравшие на него опасно и сторожо, а так, как может знать только свой, всамделишный, коренной деревенский человек. Без умиления и прикрас, но и без снисходительности старшего брата. Предвижу возражения: дескать, природа художественного гения такова, что бесстрашно пронзает толщу сословных перегородок, и пушкинский Савельич как народный образ ничуть не менее достоверен, чем беловский Африканыч. Всё так, но одним художественным даром эта задача не решается, есть ещё и понятия крови и родовой памяти.

С. Есенин, М. Шолохов, А. Твардовский, Н. Клюев, Павел Васильев, Ф. Абрамов, В. Солоухин, Е. Носов, К. Воробьёв, В. Шукшин, Н. Рубцов, В. Распутин, В. Белов, В. Личутин с огромной художественной мощью сказали в нашей литературе то, чего нельзя было не сказать. О России, о гибельных и победных путях народа в XX веке, о его заблуждениях и поисках, о жизни и смерти, об обретении смысла бытия.

И в этой сверходарённой компании, великой по самым высоким меркам мировой литературы, Астафьев выделялся масштабом своего редкого, истинно народного таланта, удивительным русским языком, сочным и образным, непревзойдёнными картинами стремительно исчезающей *не-городской* натуры и эпическими, громокипящими сказаниями о слиянии человека с природой, чуть ли не последними в русской словесности.

“Вы ведь первые, кто уже только на асфальте вырос”, — с сожалением и даже, как показалось мне, с укором бросил он мне как-то в дни наших встреч в бетонной тени нью-йоркских громад. Дескать, что с вас взять, убогих, городских, обделённых счастьем соития с Божьим миром?

Читатель сразу углядел в произведениях Астафьева литературу, а не беллетристику, подлинную правду, а не наигрыш, пусть и талантливый. И не мог не откликнуться на это, ибо для сотен тысяч людей в России настоящее Слово по-прежнему значило много.

“Я убеждён, что занятие литературой – дело сложное, не терпящее баблства, никакой самодеятельности, и нет писателю никаких поблажек, – сказал как-то суровые, беспощадные слова о своём ремесле Виктор Петрович. – Сорвёшь голос – пеняй на себя. Захочешь побережешься и петь вполголоса – дольше проживёшь, но только уж сам для себя и жить, и петь будешь. Однако в литературе жизнь для себя равносильна смерти”.

Он – израненный и испытывавший столько жизненных ударов – никогда не берёг себя. Как, впрочем, и других. Истинно русский был человек.

\* \* \*

Могилу лейтенанта Бориса Костяева, умершего в санитарном поезде от “лёгкой” раны уже на излёте войны и преданного земле на глухом, заброшенном полустанке, где “тенью проступает хребет Урала”, находит женщина, которую он любил. Этой сценой – библейски печальной, немногословной, пронзительной – начинается и заканчивается повесть Астафьева “Пастух и пастушка”:

“...И послушав землю, всю засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полынью, она виновато сказала:

– А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам.

Низко склонившуюся над землёю седую женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце закатилось за горбину степи, всё так же калила небо заря, и, слушая степь, она почему-то решила, что он умер вечером. Вечером так хорошо умирать.

Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скатился в землю. Сухо и чисто шелестела степь. Скакало что-то на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже заметный свет. Это вырвало и гнало ветром куст до тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.

– Господи! – вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли.

Костлявый татарник робкой мышью скрёбся о пирамидку. Покой окутывал степь.

– Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе. .. Там уже никто не в силах разлучить нас.

Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакенем пирамидка, и зыбко было всё в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один – посреди России”.

Помню, впервые читал эти страницы в начале 70-х годов – совсем молодым, беззаботным, беспредельно уверенным в себе и в жизни, и – не было сил оторваться. В один присест проглотил, прожил, прочувствовал так, что перехватило дыхание, это сказание о войне, любви и смерти. И понимал всем существом своим: это – настоящее.

Уставился потом в никуда невидящими глазами, не в силах стряхнуть ощущение волшебства, сотворённого Словом, возвратиться Оттуда в день сегодняшней. . .

Потом были “Звездопад” и “Печальный детектив”, “Царь-рыба” и “Последний поклон”, “Ловля пескарей”, наделавшая столько шума. . . Но то – первое! – ощущение надсадной тяжести войны, любви – как удара молнии, гигантского одиночества смерти осталось. Вместе с потрясением от великого писательского дара Астафьева.

Во всякой настоящей литературе есть неизъяснимая тайна. Кажется: ну, вот они, совсем простые, безыскусные слова, всякому под силу их знать и употребить – и плетётся вязь из этих слов, неторопливая, спокойная, тоже вся на виду. А рождается тайна. . . “В кремне огня не видать”, – говорит про то половица. . .

В 60–70-е годы шум в столицах стоял от В. Аксёнова, Ю. Семёнова, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, отпрысков номенклатурных фамилий, от западных писателей, коими непрерывно потчевал изысканную публику журнал “Иностранная литература”. Стремительно взошла и закатилась переменчивая звезда изгнанного А. Солженицына. А военное поколение писателей задвигалось на второй план: мол, чего с них взять? Они дописывают вчерашний день, работают в традиционном ключе и вообще слишком приземлённые, слишком почвенники, чтобы занимать умы и воображение изощрённых интеллектуалов.

Шло время, всё астафьевское мною прочитывалось, ничто не пропускалось, каждая вещь ловилась, как желанная весть. Кто знал, что через годы доведётся встретиться с ним далеко от России, на другом конце света?..

\* \* \*

...Осенние утра в Нью-Йорке удивительны. Причудливая, не похожая ни на что панорама Манхэттена медленно выплывает из серо-синей полумглы, прочерчивая светлеющее небо кубическими очертаниями строений. Наступающий день мягко, неспешно сползает вниз по стеклянным глазницам небоскрёбов, впуская свет в узкие улицы, под завязку забытые задремавшими ненадолго машинами. По здешним понятиям ещё тихо — шумят только вентиляторы кондиционеров на крышах, да изредка протарахтит со станции на высотке неподалёку ранний вертолёт, развозя пассажиров в аэропорты, рявкнет сиреной полицейский патруль или захлебнётся сдавленным воем “Скорая помощь”.

Нью-Йорк вообще никогда не спит, но всё же выдаётся эта зыбкая, короткая, как вздох, пора на грани света и тьмы, когда город — самое близкое подобие Вавилона в современном мире, — словно усталый зверь, замирает перед прыжком в новый день, в очередную свалку, сутолоку и суету. Это редкие и потому, наверное, лучшие здесь минуты.

Всего час или два назад Нью-Йорк, весь в блеске и мишуре, взбрыкивал, как старый боевой конь; чтобы это почувствовать, достаточно было смешаться с пёстрой и праздной полночной толпой на пересечении Таймс-сквер и Бродвея в западной части города. И в час, и в два, и в три ночи тут светло, как днём, шумно и запружено народом. Кого и чего здесь не увидишь! Туристов со всего света, вконец ошалевших от таранного напора “столицы мира”, сутенёров с жирными пальцами в громадных перстнях, предлагающих живой товар на любой вкус: чёрных, белых, жёлтых проституток любого пола и любой сексуальной ориентации, торговцев наркотиками с цепкими, холодными глазами.

Какой-то малый с копной огненно-рыжих волос, густо усеянный веснушками по белой коже, разложив прямо на тротуаре небольшой чемодан, предлагает из него любому желающему часы — всего по червонцу: “Берите! Покупайте! Лучшее предложение в вашей жизни! Такого шанса у вас больше не будет! — надсаженным голосом взывает он к шелестящей мимо толпе. — Не спрашивайте меня, где я достал эти часы. Я же вас не спрашиваю, где вы достали свои деньги!” И разводит бледными руками, на которых тоже веснушки. Народ улыбается — здесь любят рискованных, — останавливается, торгуется и... покупает. Напёрсточники, хваткие, поджарые, перебирают ногами, как борзые перед гоном, с блестящими глазами то ли от азарта, то ли от “травки”, всегда в ходу, всегда при деле, ибо отбоя нет от зевак-прохожих, готовых обмануть фортуна, сорвать куш. Судьба-то — индейка, а жизнь — копейка. Цифры государственного долга США, с огромной скоростью бегущие здесь же, на огромном, в несколько этажей неоновом панно, веско и предметно напоминают всем о тщете потуг к здравому смыслу и осмрительности.

Здесь же в огнях реклам соревнуются друг с другом уличные оркестры. Однажды я с удивлением услышал, как трубач, саксофонист, тромбонист и ударник бодро наяривали “Бывает всё на свете хорошо”, — видно, привезли наши евреи-эмигранты. В это время на проезжей части водитель огромного лимузина, похожего на броневик, ослепительно сверкающий хромом и никелем, выписывает немислимые кренделя; одна рука — на баранке, в другой — труба, на которой он во всю мощь лёгких выдаёт залихватское соло. Никто тебя не развлечёт, если не развлечёшь себя сам, — таков подход нью-йоркцев к ночной жизни. “Нью-Йорк, Нью-Йорк, чёрт, а не город”, — пел Фрэнк Синатра к неизменному восторгу местных жителей. “Пестрота, разгул, волне-

нье, ожиданье, нетерпенье”, – будто бы про здешних жителей писал Нестор Кукольник. . .

\* \* \*

Осень 1989-го. Я уже два года, как собственный корреспондент “Правды” в этом городе. Первые месяцы в США тянулись долго – в глухой тоске по дому, родным и друзьям, по привычному и устоявшемуся укладу московской жизни. Долго, очень долго хотелось улететь в Москву с каждым рейсом “Аэрофлота”, которые я провожал в аэропорту имени Кеннеди. Всякий раз острой завистью завидовал я отъезжающим, которые часов через 10–12 будут мчаться из Шереметьево по широченному Ленинградскому проспекту! Домой! Домой! И вдруг однажды, провожая в Москву гостившую у нас сестру, поймал себя на незнакомом и странном ощущении: отрешённости. Понял, что прижился, притёрся, привык, стал считать Нью-Йорк своим. На меня уже был спрос на “Си-эн-эн” и на других американских телеканалах, я выступал регулярно в программах “Найтлайн”, “Доброе утро, Америка”, “Кроссфайер” (“Перекрёстный огонь”) Патрика Бьюкенена и Роберта Новака – консерваторов, острых на язык, известных всей стране, с удовольствием “поджаривающих” на потеху публике своих гостей заковыристыми вопросами. Спорил там с Мадлен Олбрайт, в прошлом аспиранткой Бжезинского и будущим госсекретарём США в правительстве Б. Клинтона. В передаче “Международные корреспонденты” появлялся вместе с журналистами других стран. Там, в частности, произошла встреча в эфире с итальянцем Дззукони, который сделал в газете “Республика” разгромный репортаж о скандальной поездке Ельцина в США в 1989 году, обвинив его в беспробудном пьянстве. Ельцин и впрямь тогда *не просыхал*, а однажды даже помочился на самолётное колесо прямо на аэродромном поле. Сейчас это ведомо всем и каждому, а тогда перепечатка этого материала в “Правде” стоила тогдашнему главному редактору Виктору Афанасьеву его должности. Горбачёв и Яковлев тут же уцепились за возмущение читателей “злобным партийным наветом” на тогдашнего кумира толпы. Сотни людей демонстративно жгли “Правду” у входа в редакцию, тысячи читателей возвращали подписку на газету. И миллионы по всей стране были, как вирусом, внезапно поражены повальной слепотой, детским легковерием и в иступлённом экстазе взирали на Ельцина, как на долгожданного спасителя Отечества. . .

Через пару недель была свалена Берлинская стена, а год спустя Шеварднадзе с преступной лёгкостью сдал Западу ГДР, подписав в Нью-Йорке четырёхсторонний договор с США, Великобританией, Германией и Францией. После этой церемонии я шёл рядом с ним в другой зал, где начиналась сессия ОБСЕ.

“А к чему туда идти? Главное-то уже решено. . .” – обратился я к седовласому министру иностранных дел СССР, одетому в щегольской тёмно-синий костюм. Шеварднадзе улыбнулся обезоруживающей улыбкой хорошо натренированного партийного тамады, схватил меня за руку, ласково потряс её и. . . не сказал ни слова в ответ. В зале заседаний царило необычайное оживление. “Западники” чуть не взмывали в воздух от восторга – обнимались, поздравляли друг друга, смеялись, жали руки. “Вот оно, – думалось при этом, – новое поколение чемберленов с мюнхенскими обещаниями “привезти вечный мир”. На делегатов ГДР во главе с министром иностранных дел было страшно смотреть: бледные, растерянные, с ужасом, застывшим в глазах, они в одну минуту стали политическими трупами. Предательство наше было слишком очевидно, слишком вероломно. . . Так Горбачёв, не моргнув глазом, сдал немцам целую страну.

У нас – разгар перестройки, стремительно переходящей в разгул. Освобождение от всех и всяческих табу. Жажда справедливости, вылившаяся в отчаянную борьбу с привилегиями номенклатуры. Все с горячным вожделием ждут от газет новых разоблачений ГУЛага.

Бросалась в глаза беспомощность тогдашней советской элиты, её полная неспособность совладать с вихрем перемен. И – по контрасту с ней – бесовская активность разрушителей, действующих решительно, нагло, осмысленно.

В самом конце октября 1989 года вместе с другими советскими журналистами, аккредитованными в Нью-Йорке, я вылетел в Питтсбург, второй по величине город в Пенсильвании. Разрешение на любую поездку за пределы 25-мильной зоны в те годы запрашивали у госдепартамента США минимум за три дня. Поводом была очередная встреча советской и американской общности под ничего не говорящим нашим участникам названием “Чаттокуа в Питтсбурге”. В местечке с индейским названием Чаттокуа когда-то начинались эти диалоги представителей СССР и США, продолженные теперь в Пенсильвании.

“Конференции”, “семинары”, “чтения” и “диалоги” с нашим участием обрели в перестроечные годы в США характер эпидемии: они устраивались с поразительной частотой и в несметном количестве. Американцы из верхов, чьи мозги были крепко настояны на протухших дрожжах “холодной войны”, долгое время подозревали, что перестройка – очередная после разрядки 70-х годов тактический ход хитроумной и коварной Москвы, придуманный для “идеологического разоружения” Запада. Даже прожжённым советологам в голову не приходила дикая мысль о том, что никаких планов и задних мыслей у Горбачёва со товарищи не было и в помине. СССР под водительством “новомышленцев” стремительно летел под откос. Куда должна была вывести кривая разрядки и ускорения, никто не ведал.

Но американцам, как людям рациональным, пекущимся о своих национальных интересах, очень хотелось это знать. Поэтому они беспрестанно созывали всевозможные советско-американские сходки, где дотошно выпытывали у всякого посланца из пошедшей в полный разнос Страны Советов, что же на самом деле на уме у очередных кремлёвских мечтателей. Вопросы американцев на любой конференции или семинаре были одни и те же, что навело на нехитрую мысль: их просто под копирку разгоняли повсюду соответствующие американские службы. Денег и напитков не жалели. В Нью-Йорке однажды даже провернули грандиозный сбор под крышей южнокорейского проповедника Муна, куда пригласили около 300 избранных гостей из Советского Союза – абсолютно неслыханное расточительство по американским понятиям! Все официальные заседания и все междусобойчики в кулуарах тонули в бесконечных разговорах о горбачёвской перестройке и пресловутом “новом мышлении”.

“Откуда вообще взяться “новому мышлению” в тех же головах? – с наивной горячностью выпытывал я у встреченного в Техасе на Дартмутской встрече знаменитого в те годы философа М. Мамардашвили. – Какие химические реакции должны произойти, чтобы вчерашние мозги вдруг, ни с того ни с сего, начали думать по-новому?” – “На поворотных этапах истории новое мышление может возникать, – с доброжелательной улыбкой наставлял меня опальный в недавнем прошлом любомудр. – Случается это редко, но всё-таки случается”.

Питтсбургская конференция проходила в местной “сирийской мечети” – здании эклектическом во всех смыслах, с пёстро размалёванным верхом на манер куполов нашего храма Василия Блаженного. Стены отделали под посеребривший от времени ракушечник, а вход в мечеть охраняли стальные сфинксы, излаженные под древнеегипетских, хотя фараоны, как известно, в силу своей исторической отсталости, с учением пророка знакомы не были. Скорее всего, устроители выбрали мечеть потому, что арендная плата за неё была всё-таки божеской.

Советскую делегацию возглавляла Валентина Терешкова – изящная, сдержанная, немногословная. Протянула руку в ответ на моё приветствие, узнав, – в Москве мы встречались, – улыбнулась. За окном – мягкий октябрьский вечер. Дивная пора, золотая осень – “индейское лето”, как называют в Америке наше “бабье”.

На одном из непрременных вечерних фуршетов мы оказались рядом с Виктором Астафьевым, я тут же представился ему как давний его поклонник и корреспондент “Правды” в Нью-Йорке. При Астафьеве в эти дни неотступно крутился какой-то поджарый американец, – то ли из госдеповских, то ли из прочих служивых структур, – человек с абсолютно стёртой, незапоминающейся внешностью.

Астафьев располагал к себе мгновенно. В нём не было ни намека на фальшь, ни на привычное московское византийство, ни претензий на позу “великого” мэтра. Он сразу перешёл на “ты”, смеялся, шутил, вспоминая хохмы из сегодняшнего заседания, рассказывая анекдоты на сельские темы, которых знал великое множество, не забывая при этом закусывать и, само собой, вставать в очередь к стойке бара за подкреплением. В голубой спортивной ветровке, в белой рубашке с галстуком, в тёмных брюках и чёрных башмаках, Виктор Петрович, как теперь говорят, “оттягивался”, как и все, с заметным удовольствием.

Крупная, львиная голова на коротковатой шее, волевое, обветренное до красноты, стремительное лицо, на котором тотчас читались любые перемены настроения, ослепительная улыбка, светло-карие глаза, мощные руки. Шрамы на левой руке, шрамы на лице. . . И эти знаки войны, и отяжелевшая стать, и благородство облика заставляли угадывать в нём образ воина, вечный во все времена, будь то суворовский солдат-ворчун или ветеран галльских походов Цезаря. “У кого короткий меч, подходи к опасности ближе”, – советовал один из римских полководцев. Астафьеву, кажется, подходили эти слова.

\* \* \*

В один из дней после обеда повезли всю советскую делегацию в торговый центр на окраине Питтсбурга для покупок. На “шопинг”. Тогда это слово было для наших путешественников в диковину, не то что теперь, когда оно пролезло в русском наречии в первый ряд благодаря усилиям “челноков”, беззаветных тружеников на злачной ниве потребительского прогресса. Предусмотрительные американские хозяева, раз уж им пришлось изрядно раскошелиться на конференцию, решили обставить поход русских в торговые ряды с максимальной пропагандистской пользой для “свободного мира”. Подрядили две телевизионные группы для съёмок и рассчитывали получить “горячие кадры”, над которыми наверняка будет потешаться доверчивый американский зритель: как “советские”, вконец потеряв головы и одурев от неслыханного изобилия, будут сметать с прилавков трусы, жвачку, колготки, видюшки с телевизорами, тогда бывшие в бешеном дефиците на родине социализма. Обыкновенно это срабатывало – не зря в те годы наших туристов на Западе прозывали “пылесосами”.

День выдался серым, влажным и ветреным. Временами мелким бисером сыпал дождь. Советская группа расчехлила японские зонтики, но на настроении непогода никак не сказывалась: все без умолку гомонили в оживлённом предвкушении больших закупок. Вывалившись из автобуса, телевизионщики сразу пристроились к Астафьеву – камеры отслеживали каждый его шаг и каждое слово. Почему они выбрали именно его, неясно. Колоритная ли внешность Астафьева была тому причиной? Или тамошние тележурналиги получили наводку от начальства: дескать, присматривайте за человеком, весьма близким в ту пору к самому Горбачёву? Само собой, телевизионщики и понятия не имели, что перед ними известный советский писатель. За американское невежество можно было ручаться головой. В этой стране, где всерьёз могли спросить, кто нынче король в Германии, на общую эрудицию рассчитывать не приходилось.

Но Астафьев, похоже, и сам быстро смекнул, что к чему, и не собирался ударить в грязь лицом перед всегда улыбчивыми и предусмотрительными хозяевами. “Где тут продаются аудиокассеты?” – громко спросил он – так, чтобы слышали окружающие. Съёмочная группа, учитывая, но напористая, закинув на плечи штативы телекамер, гурьбой двинулась за ним, на ходу разматывая кабели. Звякнув колокольчиком входной двери, толпа ввалилась в магазин. Длинногривый продавец у стойки заметно напрягся. “У вас есть “Дон Карлос” Верди? Или “Парсифаль” Вагнера?” – с расстановкой, отчётливо произнёс Виктор Петрович. Я переводил. Продавец стушевался: обычно спрашивали что-нибудь попроще. “В исполнении “Ла Скала”?” – продолжал напирать Астафьев. “Извините, сэр, сейчас нет”, – вежливо выдавил продавец, растерявшийся, побледневший от неожиданной просьбы клиента и от напряжённого внимания толпившихся вокруг журналистов. Обескураженные телевизионщики, разочарованно вздохнув, начали бесшумно сворачи-

вать аппаратуру. “Забойного” телесюжета о “голодных и диких советских потребителях” с Астафьевым явно не получилось.

“Я ведь теперь классику собираю, – слегка смущаясь, признался он уже на выходе из магазина. – В Красноярскую филармонию стал ходить”.

\* \* \*

Само собой вышло так, что встретились мы с ним в Нью-Йорке уже на следующий день после окончания конференции, провели, почти не расставаясь, ещё два долгих дня вместе. “Мне почему-то всегда с правдистами везёт, – возбуждённо делился Виктор Петрович со мной по дороге из Питтсбурга. – Ага. В Афинах с Володей Потаповым общался, в Париже – с Большаковым” (тогдашние корреспонденты “Правды” в этих европейских столицах). “Стало быть, тянет вас к партийной печати”, – не удержался я.

Но просто так в жизни ничего не случается – ни встречи, ни расставания, ни воспоминания. К Астафьеву люди тянулись, движимые инстинктом общей цели, как говорил по другому поводу в своих стихах Ст. Куняев. Десятилетиями с Астафьевым дружили Валентин Распутин и Савва Ямщиков, Валентин Курбатов и Анатолий Заболоцкий, снимавший “Калину красную”. Годы спустились и мне посчастливилось сойтись с ними, пригласить в члены Общественного совета газеты “Слово”. Чем, если не Божьим промыслом, объяснить эти почти предопределённые сближения?

Виктора Петровича по утрам я забирал на корпунктовском белом “Олдсмобиле” из гостиницы “Дорал инн” на Вест-сайте, в номерах которой годами останавливались командированные из СССР и где у американских пинкертонцов всё было давно отлажено по части подслушки и киносъёмки советских граждан. Невод забрасывали широко, без скидок на положение. Глядишь, какой ни то компромат сам упадёт в руки: чья-то сверхжадность, на которой можно при случае сыграть, адюльтер примерного семьянина по пьяной страсти. Словом, работали американцы, зря казённый хлеб не ели.

Я привозил красноярского писателя к себе в корпункт “Правды” – на 38-й этаж дома № 515 на 72-й улице Ист-сайда. Бесшумный лифт взмывал между этажами так стремительно, что закладывало уши. На балконе из тёмно-серых плит, с невысоким – чуть выше пояса – широким парапетом гулял свежий осенний ветер. Глянув вниз со стометровой высоты на улицу, съёжившуюся до размеров школьной линейки, Астафьев только ахнул: “Ну, и высотыща!”.

Прямо, насколько хватало глаз, расстился Манхэттен. В полукилометре слева поблескивали тёмные воды Ист-ривера, змеей вдоль неё вилась набережная Рузвельта, добегающая до закованных в ажурную сталь Бруклинского и Манхэттенского мостов. А дальше, направо, разновысокие и великолепные в своей мощи “Крайслер билдинг”, рокфеллеровский “Эмпайр стейтс”, “Панам”, “Ситикорп”, две башни-близнецы Всемирного торгового центра и к западу, уже на Вест-сайте, “Трампа тауэр”, “Галф энд Вестерн”... Пиршество бешеных денег, полёт американского строительного гения, царство стали, стекла и бетона.

Лёгкие облака, гонимые ветром, стремительно перемещались в густеющей синеве ясного неба. Снизу тянулись навечно примерзшие к Нью-Йорку звуки, сливающиеся воедино, не знающие передыху ни днём, ни ночью: визг и вой пожарных, скорых, полицейских машин, иногда стрельба – какофония гама, симфония контрапункта... “Красиво, – задумчиво произнёс Виктор Петрович, внимательно вглядываясь в городские очертания. – Но как здесь жить-то, среди сплошного камня и стекла?”

Сегодня исчезли навечно из знаменитой панорамы взорванные 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра, давно разорилась авиакомпания “Панамерикэн”. Словом, *иных уж нет, а те далече* – не только о людях, но и о зданиях так тоже можно сказать...

\* \* \*

Запись тех дней из моего дневника:

“1 ноября 1989 года.

В. Набоков пишет в одном из своих писем из Нью-Йорка: “Тут дивный вид

из окна на Центральный парк – гобеленовые купы деревьев, а с боков, оттенённые сиреновой гуашью, таинственные небоскрёбы под пуссеновым небом”.

Во всём этом бездна изыска, пропасть культуры, бесконечное любование собственным эстетством. Но и холодом веет страшным! Набоков, несомненно, из того пласта, из того тонкого слоя, который владеет высочайшей культурой. Свободно говорил и писал на нескольких европейских языках, обнаруживал несравненное владение словом, блестящий ум...

Но мне куда ближе Астафьев, с которым только что познакомился, – приземистый человек с вырубленным, крестьянским лицом, иссечённым морщинами, с покалеченной на фронте рукой, щедро пересыпающий свою речь матом и совсем не дурак выпить.

Потому что Астафьев – плоть от плоти народной, сколок тяжкой народной судьбы, нашедший в себе силы восстать и сказать своё болью напоённое слово. А Набоков – бесстрастный любователь красотой. Его Галатея, – если даже допустить, что он её создал, – никогда не оживёт”.

Но сам Астафьев к разговорам о культуре, об образовании возвращался в эти дни неоднократно: видно было, что эта тема в ту пору его сильно задевала. “Ну, какая у нас, “деревенщиков”, культура? Образование? С моей семилеткой да ФЗО! Ни языков не знаем, ни мировой литературы! Нигде не были, куда нас не пускали, понятия не имели, как люди за границей живут, о чём думают. До всего пришлось доходить самим уже в зрелом возрасте. Я ведь и Бунина впервые в сорок лет прочитал!” – горячо, с горечью говорил. “Может, и слава Богу, что так, – спорил с ним в частностях я. – Прочти вы его в восемнадцать, Бунин, может, навсегда заглушил бы в вас всякое желание писать. Ведь сотворить неоперившемуся новичку нечто подобное зрелой бунинской прозе – дело заведомо неподъёмное”.

Любопытно, что в речах уже творчески полностью сложившегося Астафьева, а иной раз и в его переписке ощущалась даже некая бравада своими корнями, происхождением, “народностью”: вот, мол, мы какие – *земляные, нутряные, посконные!* Но как художник в лучших своих вещах он был безупречен. И, наверное, был прав, vesко заметив в одном из своих последних интервью: “За нами были Тургенев, Лесков, Бунин. И я думаю, что мы не унизили ни их, ни литературу”.

Василий Ключевский, наш знаменитый историк, очень точно заметил по этому поводу: “Есть люди, у которых язык умнее их самих”.

\* \* \*

В домашней уединённости Нью-Йорка после питтсбургской, почти коммунальной, толчеи, мельтешения лиц и застолий общение с Астафьевым стало другим. Чувствовалось, как зорко, дотошно и придирчиво присматривается он ко всему. Оглядев небольшую, со всеми окнами на юг, квартиру, ладную, уютную, но без неизбежных для оседлого быта мелочей, так многое говорящих о хозяевах и придающих свой колорит любому жилью, обронил: “А всё-таки казенный у вас дом, нежилой. Не свой!” Здесь я и не спорил: “Ясно, не свой, Виктор Петрович! Дом-то наш в Москве. А потом, ведь вся американская цивилизация такая – без корней, вечно на колёсах. Что ж мы – будем рушить их монастырь своим уставом? А если серьёзно, в Нью-Йорке у нас есть и комфорт, и удобства, и деньги, да вот только вся жизнь “не в зачёт”, всё считаешь дни до отпуска, до встречи с родными”.

Заметив в кабинете фотографию моего отца в генеральской форме, Астафьев не удержался, едко выпалил: “Не люблю генералов! Ни военных, ни политических! Натерпелись мы от них и в войну, и до, и после”. “Ну, до генерала-то ещё надо было дослужиться, – не соглашался я с ним. – Когда я родился, он был капитаном, в 42-м на фронте вступил в партию, тогда за это коврижки не полагались. Расстрел при взятии в плен”.

Но Виктор Петрович спорящих с ним не жаловал, заводился с полоборота: “Да что ты говоришь? Воевали наши начальники, не щадя не своих – солдатских жизней. Приказ выдают: “Киев взять к 7 ноября!” К празднику! А на кой ляд? Положили лишних тысяч сто – я ведь был на форсировании Днепра, знаю, видел, как это делалось. И при штурме Берлина то же самое – взять опять-таки к празднику, к “Первому мая”, – передразнил он полководцев из



народа, распаяясь всё больше. “Мать их ети! Генералам отрапортовать надо, чтобы ещё один орден получить, ещё одну звезду на погоны. А в Ленинграде в блокаду уморили голодом и холодом почти миллион человек – никто и не знает в точности, сколько. Сдать надо было город немцам, людей бы спасли. Только кто когда у нас жалел людей?!”

“Начнись война сегодня, я бы ни за что добровольцем не пошёл. И внукам своим заказал бы. Я своё отдал сполна”, – устало произнёс он, завершая болтовню для него тему.

Я слушал его с удивлением: всё это было очень похоже на то, что тогда на все лады перепевалось нашей “демократической” прессой. Егор Яковлев закончился для меня как журналист и как человек, когда на первой полосе “Московских новостей” опубликовал ко Дню Победы 9 Мая фотографию: русские крестьяне со спущенными штанами встают со скамьи, на которой немцы их банально порол. “Нате, вот вам ваш “пир победителей”, – хотел этим проорать Яковлев! Всё это было настолько гнусно, низкопробно, подло, что оставалось только зубами скрипеть от обиды. Но узреть подобное от творца “ленинианы” Яковлева было одно, услышать от фронтовика Астафьева – совсем другое.

В конце концов, кто на кого напал? Мы, что ли, приглашали к себе немцев в 41-м? Разве мы затеяли войну на тотальное истребление? Почитайте хотя бы план “Барбаросса” – его ведь не советские пропагандисты писали! Там русским, которых должно было остаться около 50 миллионов, отводились северные территории, чтобы подышали сами собой. За войну заплачено невыносимой ценой, это верно. Как вооружали ополченцев октября 41-го года в Москве, вспоминал потом один из них, Юрий Владимиров, в своей книге “Война солдата-зенитчика”: “Нашему отделению в 12 человек досталось пять винтовок, – чётко рапортовал он на страницах книжки, напроць лишённой каких бы то ни было литературных изысков, но от этого особенно достоверной. – Из них две отечественные, мосинские, образца ещё 1891 года, а три – польские, оказавшиеся в СССР как трофеи после похода Красной армии в сентябре 1939 года в Польшу”. Вот так и начинали воевать. Но войну выиграли, потому что спасали Россию! Всё это я сумбурно и запальчиво высказывал Астафьеву в накурленном кабинете, где мы остались вдвоём. Наши дочери Маша и Саша, шаловливые и резвые, заметно присмирели, слыша из соседней комнаты наши разгоряченные голоса.

Обедали все вместе за большим столом в гостиной. Ветер теребил светло-серые пластмассовые жалюзи на отворённом окне. С реки тянуло запахом воды, смешанным с острым дизельным чадом. Коротко и звучно просигналил с Ист-ривер прогулочный катер.

Астафьев ел неторопливо, без спешки, по-крестьянски основательно. “Ну, и чему вас в школе учат? – спрашивал он у детей, брал на руки младшую, 6-летнюю Сашу, смеясь, рассказывал, каким озорником растёт его внук.

Мне же не терпелось перейти к главному: услышать его мнение о своих первых литературных опытах. Надев толстые очки в тёмной оправе, читал он мой рассказ о перестройке, опубликованный в “Смене”, – неспешно, развернувшись за столом вполоборота, подперев подбородок одной рукой и держа журнал на отлёте в другой. “Бойко написано, – великодушно сказал он, закончив чтение. – Мы в этом же журнале много слабее начинали”.

– Понимаю всё его несовершенство, – в тон ему отвечал я. – Рассказ, конечно, “головной”, выдуманный, хотя и основан на реальном факте.

– А ведь рассказа в нашей современной литературе нет, – убеждённо, как давно выношенный приговор, произнёс Виктор Петрович. – Замечательный мастер рассказа был Юрий Казаков! И Юрка Нагибин здорово в этом жанре работает. Работоспособный чёрт! Ага. Уж как ни пьёт, а способности выдавать прекрасные вещи не теряет. Из нынешних поэтов, считаю, самый сильный – Юрий Кузнецов.

Вечером пошли с ним ужинать. На выходе из дома Мэтью, рослый, дородный привратник-негр лет 45-ти, услужливо распахнул массивные, выдраенные до прозрачного блеска стеклянные двери. “Добрый вечер, мистер Линник”, – с вышколенной приветливостью произнёс он высоким голосом, всегда неожиданным для человека таких внушительных габаритов. Сильно хромавший, он с удивительной проворностью отскочил в сторону, пропуская нас. “После ранения во Вьетнаме припадает на ногу, – сказал я Виктору Петровичу, поздоровавшись с Мэтью за сегодня уже в пятый раз (американцы, как известно, здо-

роваются на дно столько раз, сколько видятся). — Вообще, разный народ оказывается в привратниках на Манхэттене. Пару лет служил у нас Янек, худой, тихий поляк. Не сразу и признался, что знает русский язык. По-русски со мной всегда говорил шёпотом, боялся, чтобы коллеги не засекали”.

... Уже годы спустя читал я в письме Астафьева Валентину Курбатову, написанном 2 декабря 1989 года, то есть через месяц после его пребывания в Штатах, такие слова: “... Я углубился в роман после поездки в Америку, где все работают хорошо, много смеются, здороваются друг с другом, а не говорят про работу и не перегрызают глотки друг другу”. Такими были его американские впечатления, разбавленные обязательным у него в ту пору выпадом в адрес соотечественников...

Вечер был тёплым, со стойкими, присущими только Нью-Йорку, запахами и ароматами — сладковатой бензиновой гари, прогорклого масла, на котором уличные торговцы готовят всё подряд: плетёные бублики “претцелы”, рецепт которых вывезли эмигранты из Австрии, “хот-доги” с квашеной капустой к ним. В ближайшем итальянском ресторане на 73-й улице — тёмном, с приглушённым светом низко навешенных ламп с зелёными абажурами, с безупречно выглаженными, тоже в тон зелёными скатертями на столах — было всегда пустынно. Время от времени ко входу подкатывали огромные чёрные лимузины, пассажиры которых тут же скрывались в уединённых кабинетах в задней части зала на первом этаже. Водители часами ждали их возле дверей. Спортивно сложенные, с накачанными бицепсами брюнеты с непроницаемыми лицами прислуживали в зале и за стойкой бара. Как такое, никогда не имевшее аншлага заведение могло окупаться или тем более приносить доход, оставалось загадкой. Потом мои американские друзья снисходительно разъяснили мне, что держит такие рестораны итальянская или другая мафия, отмывает с их помощью “чёрный нал”, полученный за наркотики или иные платные услуги населению. Сегодня и в Москве полно таких заведений, в которых никогда не бывает посетителей, на что хозяевам искренно наплевать, — держат они эти точки общепита для тех же надобностей.

Взяли по бифштексу, зелёный салат, овощи, бутылку красного вина. “Может, чего покрепче?” — на правах хозяина осторожно поинтересовался я. “Нет, разгуливаться не будем, — улыбнулся Виктор Петрович. — Это раньше, по молодости, завертели бы. А теперь ни к чему”.

Как они загуливали, видно из одной записи за 1971 год в дневнике Юрия Нагибина, с которым Астафьев одно время был крепко дружен:

*“Грандиозное заседание редколлегии “Нашего современника”, превратившееся прямо по ходу дела в грандиозное пьянство. “Помянем Феликса!” — так это называлось. Недавно назначенный редактором “Молодой гвардии”, наш бывший шеф, Феликс Овчаренко, 38-летний красивый и приятный парень, в месяц сгорел от рака желудка...”*

*На редколлегии как всегда прекрасны были В. Астафьев и Е. Носов, особенно последний. Говорили о гибели России, о вымирании деревни, всё так откровенно, горько, по-русски. Под конец все здорово надрались. Я, конечно, разошёлся и, непонятно зачем, отказался от премии за рассказ “Машинистка живёт на шестом этаже”. Из благодарности, наверное, что меня приняли в этот сельский клуб. Продолжали мы втрём в ЦДЛ, а потом у меня до шести часов утра. Ребята и на этом не остановились. Кончилось тем, что Женю Носова отправили к Склифософскому с сердечным приступом. Для меня же наша встреча явилась хорошим противоводием от моего обычного низкопробного литературного окружения”.*

Но здесь, на 73-й, всё было тихо и чинно, под статью нравам хорошо вымуштрованной итальянской мафии. Ожесточение, которое так или иначе ощущалось в Астафьеве все эти дни даже здесь, за границей, где обычно все командировочные размякают, оттаивают, оторвавшись от привычных забот, обязанностей и семейного надзора, ненадолго оставило его. Иногда отвлекался: “Главное, семью сохрани. Без этого никак нельзя”, — подперев голову, тихо бросил мне, казалось бы, ни с того ни с сего. “Как он видит и примечает всё”, — ещё раз подивился я про себя. Но очень скоро в грехоте преступления страны и профессии, в распаде дружеских и семейных уз разлетелась на куски и моя семья...

Из колонок ресторанный музыкальный центр бархатный голос Нэт Кинг Кола пел “Очарование”. Бесшумные кондиционеры в стенах мягко затягивали стелившийся вдоль столов сигаретный дым.

“А знаете, Виктор Петрович, ведь я заплакал на последних страницах “Пастуха и пастушки”, – только теперь признался я ему. Ответом мне был долгий, излучающий взгляд. Астафьев не проронил ни слова.

\* \* \*

На следующий день поехали за покупками в городок Сикокус в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси, который начинается сразу за извилистым, в прокопченных стенах и plafонах, тоннелем Линкольна под Гудзоном. Торговый центр, раскинувшийся на многие километры в залах-ангарах из гофрированной жести, с гигантскими парковками для автомобилей, предлагал товары по фабричным ценам, к тому же без нью-йоркского налога на продажу. Место популярное и у американцев среднего достатка, и, само собой, у совкомандированных. Что-то покупали для жены его, Марьи Семёновны, для сына, внуков.

На обратном пути крутыми виражами спускались к Гудзону, и здесь, с джерсийского угора, как всегда в погожий день, было видно, как над Нью-Йорком пыльно и душно нависал смог, тяжёлой подушкой наваливаясь на продольные авеню и поперечные стриты Манхэттена. Чаша острова покоилась внизу, в зубчатом окоёме из небоскребов, величественная и нереальная, как пейзаж неведомой планеты. Справа, за дымным маревом, пересекаемым жёлто-красными лучами заходящего солнца, тёмной осенней водой начиналась Атлантика.

Астафьев оставил 600 долларов, попросил: “Купи фотообъектив для Толи Заболоцкого. Это мой друг в Москве, кинооператор. Вот его телефон на конверте. Ну, и мне присылай лекарства, какие мы с тобой брали, и чёрные чернила для авторучки – у нас ведь не достанешь”. Оторвал кусок от упаковки со снадобьем: “На вот тебе, чтобы названия не забыть”.

На свежем, только что вышедшем в “Молодой гвардии” двухтомнике “Последний поклон” надписал: “Ирине и Виктору Линнику с поклоном и на доброе здоровье – Храни Бог Вас и деток Ваших – до встречи на Родине. В. Астафьев. 30 октября 1989 года. Питтсбург”. На втором томе нарисовал воздушное, в два лепестка, растение, сопроводив рисунок словами: “Мой сибирский цветок – Вам в Нью-Йорке. В. П.”. В двухтомник вложил свой экслибрис, сделанный ему красноярским художником: проросшее из земного шара ветвистое дерево с опоясывающей надписью “Из книг В. П. Астафьева”.

Объектив оказался слишком дорогим, брать его не решились. Но всё остальное мы всем семейством добросовестно исполнили вплоть до своего отъезда из США. Пересылал эти мелочи Виктору Петровичу с оказией – он иногда присылал к нам своих доверенных людей. Так с его подачи объявился в Нью-Йорке его земляк Роман Солнцев, крепко сбитый, по-детски наивный красноярский поэт. Чернобородый, с густой гривой непокорных, с проседью волос, он, вышагивая по улицам, время от времени поводил головой, как усталый конь, словно пытаясь стряхнуть с себя круглосуточное наваждение нью-йоркского бедлама.

Так случилось, что остаток, 200 с лишним долларов, долго лежал у меня, и лишь спустя годы через того же Заболоцкого мне довелось вернуть его в том же маленьком конверте уже сыну Виктора Петровича.

При расставании Виктор Петрович задумчиво произнёс: “Приезжай в Красноярск, на рыбалку съездим, у костра посидим”. Обнялись на прощание – оказалось, чтобы никогда больше в этой жизни нам не увидеться. Но письмами несколько раз обменивались. Теперь отчётливо вижу – о многом в нём говорили его письма: о его человечности, дружеском внимании к другим, напряжённом труде, а подчас о гневе и ожесточении. Впрочем, ожесточения – этой пагубы дьявольского времени – мало кто избежал, самых близких мне людей обожгло оно своим смрадным духом. Ибо все мы, помимо нашей воли, были затянuty в воронку неподвластных каждому в отдельности, а потому особенно язвивших сердце перемен.

Но всё равно в водовороте событий, вихре встреч, под прессом неподъёмных дел и расшатанного здоровья он находил время, чтобы следить за тем, что происходило со мной.

Обиделся я на него после последнего его резкого письма ко мне, не ответил. Переписка оборвалась. Остаётся казнитья этим. И тем, что так никогда и не выбрался в Красноярск. “Забирайте же с собою в путь, выходя из мяг-

ких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!” – вспоминаются гоголевские слова.

О, как безумны мы в своём расточительстве жизни – в любви, в друзьях, в таких вот встречах, которые, как понимаешь потом, были неслыханно щедрым подарком судьбы. Думаешь, что всё ещё не раз повторится, всё можно переиграть, исправить. Увы...

\* \* \*

О том, какие страсти кипели в те нью-йоркские дни в его душе, какие бури бушевали, можно было лишь догадываться по одной фразе, богоборческий смысл которой дошёл до меня много позже. “Все учат – и апостолы, и коммунисты”, – в сердцах бросил Виктор Петрович в ответ на какую-то мою реплику, косо блеснув белёсым глазом и с вызовом поджав губы. На миг почудилось, что слова эти приотворяли дверь в его сокровенное, намекали на то, чем вызывалось нараставшее в нём ожесточение. Всё горше и всё тягостнее становились его раздумья о неизбежном уходе: к кому он придёт – там, в неведомых пределах, “где стона нет и плача”? Перед чьим судом предстанет – Бога ли? дьявола? или пустоты? Понимал, что жизнь уходит и сроки подступают, и мучился этим несказанно.

“Кто долго жил, долго всматривался в людей, у того сердце должно или разбиться, или окаменеть”, – изрёк когда-то французский мыслитель-афорист Шамфор. У большинства из нас сердца окаменевают, у избранных – таких, как Астафьев, – разбиваются. С этим он и жил последние годы.

Понимание того, что мы смертны, приходит рано. Но очень долго мысль о собственном исчезновении кажется далёкой, словно не про нас, она таится на задворках сознания, ежечасно и ежеминутно забиваемая ослепительным бегом жизни. И лишь на склоне лет, на исходе бытия мысль эта встаёт перед каждым из нас въявь, во весь рост, в своей отталкивающей и неотвратимой наготе, и немногие из людей выдерживают её. “На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь”, – говорит пословица.

Верующих выручает истинная вера: “Нарождаемся мы на смерть, а умираем на живот”, – говорят православные. Те, на кого не снизошла благодать сердечного единения с Христом, те, кто, как Астафьев, шёл к Богу, но не смог дойти до него, ожесточаются перед концом, идут напролом, словно желая бросить вызов самой смерти. Леденящему равнодушию мироздания. Но как это сделать? Как? И тогда постепенно разрываются с каждым прожитым днём все связи с жизнью, все бесчисленные нити, соединяющие нас с прекрасным и печальным миром, со всем, что дорого и любимо, и всё это затем, чтобы не было больно уходить. Кажется, что записка Астафьева, написанная ещё до его болезни твёрдой, недрогнувшей рукой и найденная в его бумагах, говорит именно об этом.

“От Виктора Петровича Астафьева. Жене, детям, внукам.

Прочеть после моей смерти.

Эпитафия.

Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно.

Ухожу из мира чужого, злобного, порочного.

Мне нечего сказать Вам на прощание.

Виктор Астафьев”.

Это, если хотите, – разновидность суицида, который принимает разные обличья. Немигающий взгляд солдата перед атакой в отталкивающее и одновременно завораживающее лицо смерти.

Но не этим хочется помянуть Виктора Петровича. Вот слова, которыми откликнулся на кончину Астафьева А. Солженицын: “Умер самообытный русский писатель, настойчивый правдолюбец. Из первых, кто чутко отозвался на нравственную порчу нашей жизни. Как никто, испытал солдатскую тяжесть войны и поднял её со дна. Мир его праху...”

“Простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? – спрашивал дивный наш поэт. – Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество”. Эти слова куда больше подходят Астафьеву, великому человеку и великому

писателю. Он останется в русской литературе, останется в благодарной памяти тех многих, кто имел счастье его знать. И слова его прощания с нами были другими, их хочется привести в заключение.

### НАД ДРЕВНИМ ПОКОЕМ

Я не всякий раз захожу на старое овсянское кладбище, заросшее буйным лесом, воистину вольно разросшимся черемушником, рябиной, березником, пихтачём и ввысь взнявшимися елями. Оно “не работает” уже 50 лет, и многие могилы на нём “потерялись”, значит, те, кто помнил и навещал упокоенных родных, тоже закончили свои земные сроки – сами уже “разместились на горе”, где расположилось новое сельское кладбище.

Но всякий раз, проходя мимо старого кладбища, этого мирного успокоения давно и по-разному живших людей, я отыскиваю глазами ель, упирающуюся в облака, под которой покоятся мои самые дорогие, самые родные люди: мама, бабушка, бабушка, дядья, тётки, племянники.

Ель эта выросла сама собой, и под нею обмерли, захудали пихта, рябина, все цветы, которые мы сажали в разное время. Рябину я подпилит – она уже в середине сгнила, но пенёк дал новый росток, он всё ещё жив. У ели я отпилит все нижние ветви. Сделалось в оградке просторней, свету над могилами больше и снегу глубже, властвуют здесь тишина, покой, только деревья шумят над прахом сельских тружеников, над подгнившими, где и упавшими крестами.

И когда я, поклонившись праху самых любимых людей, стою над родными могилами, какое-то, отстранённое от всего, успокоение, смиренное чувство охватывает моё сердце, и всё, что происходит вокруг, кажется мне таким мелким, суетным и быстро проходящим в сравнении с этой надмирной вечностью.

И снова, и снова память вы светляет прошлое и, прежде всего, ясноликое детство, которое всегда счастливо, что бы на свете ни происходило, что бы с людьми ни делали тираны и авантюристы, как бы ни испытывала, ни была людей судьба.

Когда стал вопрос, где строить сельский храм вместо порушенного в тридцатые, злобно неистовые годы, я показал на уголок земли рядом со старым кладбищем. И стоит он, младенчески-светлый, из тёсаных бревен храм Божий. В святые праздники над ним звучат колокола, а вечерами в нём удалённо теплится огонёк, будто вместе собранные души моих односельчан и родичей светятся из дальней, непостижимой дали. В порушенном храме крестили меня, в этом, вновь возведённом, завещал я отпеть меня.

Жизнь прекрасна и печальна, повторю я за одним великим человеком. Вот об этой радости и печали я не перестаю и не перестану думать, пока живу, пока дышу. Об этом и самая заветная книга моя “Последний поклон”, которая тревожит мою память, озаряет светом прошлые дни, печалится и радуется во мне.

Пока живу, мыслю и пишу, – “и жизни нет конца и мукам – краю”, – всевечная память поэту, изрекшему эти великие слова, летящие во времени вместе с нами”.

\* \* \*

Письма Виктора Петровича Астафьева – огромная часть его творческого наследия, раскрывающая всё многообразие его непростого, с острыми углами характера. Большой и страстный художник, он нередко бывал резок, до обидного пристрастен. Быстро сходясь с людьми и привязываясь к ним, он мог так же быстро, без оглядки, оттолкнуть вчерашних друзей. “Он со всеми рвал. Со всеми! – с горечью бросил мне об Астафьеве начала 90-х годов Валентин Распутин в нашем разговоре много лет спустя. – Правда, приветы мне через Марью Семёновну всё равно передавал”.

В 70–80-е годы его пытались травить за “национализм”, “почвенничество”, воспевание “уходящей природы”. Этих “травильщиков”, псевдолитераторов и идеологов от литературы сейчас и помнят только потому, что они прилюдно, в печати топтали “деревенщиков”, учили их, как надо писать и как выработать “правильное” мировоззрение. Не гнушались они и эпистолярным жанром. Виктор Петрович давал им отповедь яростную и непримиримую – у многих она на памяти. И ненавидели его за это люто.

В каком национализме можно упрекать его — человека, который сказал самые горькие и беспощадные слова о своём, русском народе? Но народ, как писал он сам, не выбирают, — как родителей, как Родину. К тому же, будь у других наций хоть малая толика астафьевской пронзительной правды и честности, разве бы повернулся язык упрекнуть его в великодержавности?

И, наконец, не сам ли он живое опровержение своих же собственных высказываний о народе? Ибо из самой толщи народной жизни, из глубин, в глуши российских просторов поднялся и расцвёл его божественный дар, который новым поколениям читателей ещё только предстоит осознать и прочувствовать в полной мере.

Говоря об отношении русских литераторов к народу, Валентин Распутин в своей статье о Ф. Достоевском процитировал классика и великого провидца: “Все наши русские писатели, — писал Достоевский, — решительно все только и делали, что обличали разных уродов. Один Пушкин, ну, да, может быть, Толстой, хотя чудится мне, что и он этим кончит. . . Остальные все только к позорному столбу ставили или жалели их и хныкали. Неужели же они в России не нашли никого, про кого могли сказать доброе слово, за исключением себя, обличителя?.. Почему у них ни у кого не хватило смелости (талант был у многих) показать нам во весь рост русского человека, которому можно было поклониться? Его не нашли, что ли!..”

Не больно-то его и искали. После Достоевского литература ещё усердней занялась переустройством социальной жизни; как жуки-древоточцы, художники крошили основание тысячелетнего здания, умиляясь в перерывах родным картинам вокруг, родным лицам и родным песням. Поумиляются — и снова за работу. Рухнуло здание (отчего так хочется думать, что, доживи Достоевский до возраста Толстого, этого не произошло бы с такой стремительностью и безоглядностью, с каким-то бурлацким “эх, ухнем!”, хотя здравый смысл подсказывает, что и он не удержал бы этого безотчётного разрушительного порыва. . . ), но рухнуло здание, и принялись выстраивать новое, в литературе поменяли почерк с критического на социалистический, последний потребовал “героя нашего времени” по соответствующим идеологическим меркам. . . Позднее, после войны, литература сумела-таки поклониться воину, защитнику Отечества, ещё позднее нашла она и подходящие чувства, и язык, чтобы поклониться старикам, хранителям народных традиций и языка, веры и совести, на своих плечах в несказанной муке вынесших Россию из голода, холода и неурядства, но поклонилась им литература уже с края могилы, в которую уходила русская деревня. А затем опять, и с ещё большей страстью, с ещё большим остревением, началось поношение народа, не прекращающееся по сей день: и такой он, и сякой. . .

Да, и такой, и сякой. . .

“Но народ сохранил и красоту своего образа, — отвечает Достоевский. — Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймёт и извинит всю непроходимую наносимую грязь, в которую погружён народ наш, и сумеет найти в этой грязи брильянт. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же в народе мерзавцы, есть прямо святые, да ещё какие: сами светят и всем нам путь освещают!”

\* \* \*

Публикуемые письма написаны Виктором Петровичем в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Тексты даются без купюр, авторская пунктуация оставлена неизменной. Это всего лишь капля в море его эпистолярного наследия, но как всякая капля даёт представление о составе воды, так и эти письма безошибочно характеризуют многое в душевной смуте и нервном, на пределе, настрое писателя в те бурные годы. Письма — иной раз бескомпромиссные, резкие, полемически заострённые — своеобразный и ценный документ той эпохи тектонических сдвигов в российской жизни и политике, когда рвалось наружу всё накипевшее, полыхали страсти, сходились и расходились друзья и вчерашние антагонисты. И наша короткая, хотя и растянувшаяся на годы переписка с Виктором Петровичем это пусть в малой части, но с готов-

ностью подтверждает. Из песни, как говорят, слова не выкинешь. К сожалению, у меня сохранилась лишь единственная копия из моих писем Виктору Петровичу.

Геннадий Сапронов, иркутский издатель и друг Астафьева, ныне тоже покойный, издал эпистолярное наследие писателя – без преувеличения огромное. Виктор Петрович никогда не вёл дневников – его письма были его дневниками. “В отдельные годы, – говорил Сапронов, – Виктор Петрович писал до пяти писем в день!” Подходил издатель к огромному массиву астафьевского письмотворчества не сразу, а шажками, по частям: в 2003 году выпустил книгу “Крест бесконечный”, где собрана переписка с Валентином Яковлевичем Курбатовым, ближайшим другом писателя, знаменитым критиком и литературоведом, за три с лишним десятка лет. Затем издал переписку с давнишним другом Астафьева Александром Николаевичем Макаровым под названием “Твердь и посох”. Книги эти стала заметным событием для профессиональных издателей и литературоведов, а для широкого читателя – в высшей степени занимательным и поучительным чтением.

“Дорогой Витя!

Вот на открытках сибирской тайги вид через Енисей из моей квартиры.

Поздравляю тебя, Иру и девчушек твоих с наступающим Новым годом, желаю всего, чего желают добрым людям, да плюс здоровья, работы по душе, поменьше неприятностей и побольше радости, а всем нам, чтобы год мирный был и всё, что задумано отцами нашими в Кремле, сбылось и, главное, чтоб смуты удаление было.

А поздравляю я тебя заранее оттого, что письма мои из Америки пришли к моей Марье уже в двадцатых числах ноября, но она всё равно была счастлива их получить.

Поездка моя даром не прошла, я хорошо отдохнул, набрался впечатлений, и меня неудержимо, как в молодости, потянуло работать. И можешь меня поздравить – на сегодняшнее утро я написал уже 140 страниц военного романа (вторая и третья книга (нрзб.) уже написана, и вот я кончал первую). Боюсь, что у меня не хватит чернил, и к тебе большая просьба – найти и с кем-нибудь переслать в Москву и из Москвы мне флакончик чёрных чернил, если можно, то лекарство от головной боли, какое мы покупали с тобой.

Надо ли говорить, как я тебе благодарен за приют и помощь – Бог тебе воздаст за доброту и пошлёт счастья и хороших друзей твоим ребятишкам. У нас зима, глухо, но кисло – самое время работать и, хотя меня всё время бомбят вызовами в Москву, я держусь, не еду, ибо, если ездить, то и дома не бывать или, как моя покойная тетка говорила: – “Начнёшь давать, не успеешь штаны скидывать!”, да и летать стало тяжеловато и смещение времени переживать трудновато, да и услышишь, узнаешь меньше, ибо многие знания про нашу действительность воистину умножают скорбь! Мой поклон Володе, Нью-Йорку – лютому и великому (так отчётливо я вижу его с твоего 38-го этажа), и кружащихся внизу, парящих чаек, которые, как я теперь понял, вашего этажа уже достать не могут, и живут, и летают на Богом им определённой высоте. Это мы всё лезем вверх и вдаль, а оказываемся на больничном горшке или в узенькой равнодушной могиле. Клянюсь, обнимаю – Виктор Петрович.

24 ноября 1989 года, Красноярск”.

“Дорогой Виктор!

Ну, вот, собирался да собирался тебе вежу дать и прособирился – пришло от тебя письмо, да ещё и с фотографиями, единственными, что памятны по Америке.

Я уже в деревне, в своей, родной. Отдыхиваюсь от зимних трудов, забот и хворей. Середину зимы проболел, подцепил во время съезда в Москве грипп – и началось. Ваш столичный грипп – не то, что наш, деревенский насморк, этот сразу к сердцу подбирается.

Главное, прервалась работа над романом о войне, так хорошо пошедшая с осени, и возобновлять работу после большого перерыва всегда сложно, трудно и не хочется. Сколько я побросал начатых вещей! Но тут заставил себя, взял себя за чуб и ткнул себя мордой в бумагу и пусть на ином уровне, более вяло и на слабой температуре, черновик первой книги завершил и отложил работу до осени.

Сейчас копаюсь в огороде, занимаюсь почтой и делаю кое-какие записи. Чуть было не увиделись мы с тобою вновь. Приглашали меня в свиту президента, на переговоры с Бушем, но я лететь после болезни не решился. На руках двое малых детей и больная жена, приходится и об этом думать.

Не смог поехать и в Голландию, на Сахаровскую конференцию, отказался и от других поездок. Вот вниз по Енисею на теплоходе с семьёй, наверное, поплыву и порыбачу, пока ещё современные дебилы всё не спалили и не срубили.

Нынче у нас малоснежная зима была и сухая весна, так резваки отроческого возраста запалили край со всех концов, да ещё пыльные бури начались, и я воочию узрел, что такое конец света. И вообще живём мы ныне в своём Отечестве беспокойно, озабоченно и тревожно. Что-то будет? Уцелеет ли Россия и мы вместе с нею?

Сегодня я был в сельской библиотеке, смотрел “Правду”, видел полоску “американскую”. У тебя сейчас забот, забот! В отпуск, наверное, уж после переговоров?

Желаю, чтобы они мирно прошли и чтобы тебе работалось ударно, и все чтоб твои домашние были здоровы и благополучны.

Ещё раз спасибо за фото, за поздравление.

Кланяюсь, обнимаю Виктор Петрович.

28 мая 1990 г<ода>

село Овсянка.

P. S.: Посылаю тебе календарик с моими родными местами”.

*Письмо Виктору Астафьеву*

“6 декабря 1990 года

Здравствуйте, дорогой Виктор Петрович!

Лишь после своего возвращения из отпуска нашёл Ваше письмо в грудe скопившейся за время отсутствия почты. Всегда рад получить от Вас весточку, спасибо. Пытался звонить Вам летом из Москвы, однажды говорил с Вашей женой, но Вы, понимаю, пребывали в Овсянке, как и должно быть, когда жарко. Деньги Ваши я привёз с собой, да так и оставил у своих родителей. Так что в случае нужды позвоните им по телефону 286-93-11 (Алексей Васильевич или Анфиса Васильевна). Если же приедете сюда, в Штаты, то, понятное дело, отдам их на месте. Жаль, что Вы не приехали с президентом в мае, хотя, правду сказать, народу с ним ездит много, только толкаются и мешают друг другу.

Как Ваше здоровье? Как работается? Только что прочёл полученный мной совсем недавно 8-й номер “Современника”, который открывается вашей вещью. По-моему, тот случай, когда литература перестаёт быть собственно литературой, а становится сказанием, и писатель превращается в Бояна, повествующего *о былинах прошлого времени*. Литературно можно работать тогда, когда, скажем, умирает Иван Ильич или господин из Сан-Франциско. Когда же речь заходит о таком страшном, как у Вас, то оно перевешивает самое литературу. Вот почему, думаю, Солженицын избрал, по сути, публицистическую форму для своего “ГУЛага”. Для описания девяти кругов ада никакой художественности, да и сил человеческих не хватило бы.

Кстати, некоторое время тому назад, в связи с предстоявшей тогда публикацией его “Посильных размышлений”, несколько раз общался по телефону с его женой Натальей Дмитриевной. Выяснилось, между прочим, что мы с ней, хоть и в разные годы, учились у одного и того же учителя в Москве. Мир тесен воистину! Конечно, все мои попытки пробиться к самому Патриарху оказались безрезультатными. Не захотел он иметь с “Правдой” дел и по поводу публикации (его материалов у нас). Я его не виню и всё понимаю, но всё-таки обидно. Отдали в “Комсомолку” – газету Вами похваленную. Газета и впрямь неплохая, только, на мой взгляд, всё-таки за счёт печатания гостей, а не своих авторов. Взять хотя бы Шафаревича или Эдичку Лимонова, на которого дружно завизжали все наши либералы.

А в самой газете пошлятины не счесть! Достаточно вспомнить заголовок “Прямо в яблочко!” – в заметке о том, как насильнику, убежавшему от преследования, из пистолета попали в зад и, как пишет автор заметки, “в то место, которым и было совершено преступление”. А как Вам нравится “Млеко, курки нах Москау” – о немецкой жратве, доехавшей к нам (в виде гуманитарной помощи. – **В. Л.**)? Конечно, куда больше камней можно бросить в “Прав-



ду”, хоть и по другому поводу, и поделом будет, – всё это понятно... Но всё же.

Показывал я кое-что из своей работы бывшему здесь как-то Андрею Дементьеву на предмет печатания в “Юности”, но он сказал: “Доработать”. По размышлению – и вправду так...

Внимательнейшим образом слежу за всем, что появляется в печати о Вас, а появляется немало. Всегда радуюсь, хотя не всё, на мой взгляд, исполняют на должном уровне. Но опять же журналисты – что с них взять?

О делах наших домашних говорить и думать больно. Знаю твёрдо одно – я за сохранение Союза. Немыслимые жертвы поколений русских людей были принесены на то, чтобы сбить это всё в один кулак. И совсем не за тем, чтобы в пять лет всё развалить!

Россия, если хотите, стала жертвой собственного благородства (а может, и глупости). Мы ни один народ не приводили к общему знаменателю, как американцы всех – к англосаксонскому! И в итоге на нас же всех собак вешают! Насильно мил не будешь – всё так, но всё же, всё же, всё же... Вам, конечно, виднее, – может, самое главное для нас сейчас эту зиму вытянуть, а не об империи скорбеть. Но ведь развал государства идёт рука об руку с развалом экономики. И не остановив одно, не наладить другого.

Вот думаю: ну, что нам дали последние пять лет? Террор аппаратный сменился террором левых, как две капли воды, кстати, похожих на своих собратьев разлива 37-го года – столь же беспощадных, бесчестных и страшно ограниченных при всём их наносном шике. Полилась кровь. Выплеснулось столько злобы, что задохнуться можно. Зазвучали стройные хоры проходимцев и подлецов. А хороших людей за это время появилось на удивление мало. Всех хороших-то и раньше было видеть.

Молю Бога, чтобы спала пелена с глаз у народа.

Засим заканчиваю, – что у Вас время отнимать. Желаю Вам, семейству Вашему здоровья и возможного по нынешним временам благополучия.

Обнимаю,  
Ваш В. Л.

Р. С.: Посылаю отдельно новогоднюю открытку, но её могут и спереть – всё же заграничная! Так что и с Новым годом Вас тоже.

Если нужны лекарства или что ещё – дайте знать”.

После этого письма Виктор Петрович надолго замолчал, – видно, мои высказывания пришились ему не по нраву. Это для него характерно: упомянутая книга В. Курбатова показывает, что иногда он замолкал на год с лишним, и только исключительная деликатность Валентина Яковлевича, продолжавшего писать ему безответно, позволяла в итоге восстанавливать двухстороннее эпистолярное общение. Я, увы, покладистостью не отличался, в итоге переписка оборвалась... Правда, в одном из тогдашних интервью Астафьева читаю: “Пора бы нам уже устать от пошлости”, – может быть, косвенный отклик на высказанные в моём письме оценки. “Комсомолка”, впрочем, продолжала дуть в ту же дуду безоглядной пошлости, что с успехом делает до сих пор.

Потом “разверзлись хляби небесные” – случился обвал государства и страны. “Правда” спешно закрывала свои корпункты повсюду, и под Новый 92-й год я выехал домой, где начал работать в новой, уже оппозиционной “Правде”. После октябрьских событий 1993 года был избран главным редактором, на что Виктор Петрович, после долгого молчания, не преминул запальчиво откликнуться. Уже совсем в ином тоне, едва сдерживая клокотавшее в нём раздражение.

“14 января 1994 г<ода>. Красноярск.

Уважаемый Виктор,  
кажется, Александрович!

Я тихо обрадовался, когда Вас назначили редактором “Правды”, ибо считал Вас и сейчас ещё не совсем, правда, уверенно, считаю порядочным человеком, к тому же отличным и грамотным газетчиком.

Я видел Вас по телевизору и не раз, выглядели Вы в этом “окне в преисподнюю” почти достойно и порой даже умно. Впрочем, на фоне таких гиган-

тов мысли, как Зюганов, Горячева, Умалатова, Андреева и Жириновский, умно выглядеть совсем нетрудно, даже и красиво можно выглядеть.

Всё хотел пойти в библиотеку и полистать “Правду”, “новую”, уже Вами ведомую, но работа на пределе не оставляла для этого времени. Зато для романа мне требовалось найти подшивки “Правды” за 1942–1943 годы, и я, сам в прошлом районный газетчик-приспособленец, всё же в ужас пришёл, листая этот “орган”. Какое средоточие лжи, обмана, притворства, наглой пропаганды коммунистического бесовства и пресмыкания перед отцом народов.

Издавайся газета при Чингисхане, даже азиаты дикие, кровожадные не дошли бы до такой степени лести, низкопоклонства и вероломства!

И вот “доброжелатели” прислали мне “Правду” уже Ваших дней с разглашательствами защитника народа В. Г. Распутина, и я увидел воочию, что чёрного кобеля не отмоешь добела: была “Правда” кривдой, кривдой и осталась. Чуть половецее, чуть подемократичней, но не (нрзб.).

Сообщая вам и Кожемяко-исповеднику, что всё, что принял Распутин, всё, на что по дешёвке купился, предлагалось и мне: место в Верховном Совете, место советника, место фрейлины в свите Горбачева и, естественно, воздаяния за это харчем, вельможными привилегиями, хоромами, но я хотел работать, исполнять своё дело, Богом определённые обязанности, и ото всех почестей и подачек отказался – вежливо. И так вежливо, что не утратил уважения к себе, а Михаил Сергеевич, насколько мне известно, не утратил уважения ко мне. А его уважение, пока единственного из всей правящей банды, мне дороже всех, ибо я считал и считаю его Величайшим реформатором Двадцатого века, избавившего человечество от красной чумы и давшего русскому народу возможность жить свободно и распоряжаться собой и землёю своею. Но открылось не только мне, всему миру открылось: коммунисты потрудились в России здорово, народа русского уже нет, а есть население, готовое бежать к любому корыту, наполненному кормом и объедками с большевистского стола. Ни морали, ни стыда, ни чести, ни достоинства нет у населения нынешней России, грамота и лозунги, прославляющие народ и горячо им любимую партию, результатов не дали, любое слово, любая ложь, любой обман падает, как сорное семя, в тёмную толпу и произрастает дурью. И тут та “Правда”, которую Вы несёте народу, в самую пору, в самый раз.

Я тут писал письмо одному давнему своему товарищу и кладу Вам его копию в конверт, чтобы не тратить время на длинное письмо. Одного хочу от Вас – ответственности. Если вы поможете коммунистам вновь укрепиться у власти (уходить-то они никуда и не уходили, лишь за спиной оказались и из-за спины действовали подло и нагло, а иначе и не умеют), на Вас грех и преступление лягут тяжкие, ибо Вы обманете неразумных, подведёте к пропасти доверчивых, а столкнуть в пропасть население наше есть много желающих, и сделают они это с чувством сладострастным и мстительным. Как же: не захотели стоять по команде “смирно”, идти табуном в казённые места дорубать леса, добывать уголь, докачивать нефть.

Одно ясно, одно поддерживает дух и придаёт силы: 37-го в том виде уже не повторится, каратели будут встречать ответное сопротивление.

Р. С.: Что касается моей подписи под письмом, она присобачена без согласования со мной, но начитавшись “Правды”, вникнув в нравственно-просветительную проповедь товарища Распутина, я уяснил для себя – подпись моя, стоящая среди достойных людей нашего времени, уместна, и я поставил её, считайте, задним числом...

Обрадуйте тов. Распутина, его беседы из газет “Земля” и “Правда” с визгом перепечатывает тов. Пашенко в своей красноярской “подворотне” – безграмотной, фашистской, чёрной газете, издающейся на уровне “Боевого листа” стройбата, – достойное сотрудничество!

С беспартийным приветом –

В. Астафьев.

14 января 1994 года, Красноярск.

Р. Р. С.: Извините, что не перепечатано. Марья Семёновна очень была привязана к Распутину и горько за него переживает. Письмо её очень расстроит”.

Последнее письмо Астафьева я получил уже под занавес своей тогдашней работы в “Правде”. Пойдя против передачи учредительных прав на газету, че-

го потребовали от меня греки Янникосы, тогдашние владельцы ОАО “Правда интернешнл”, я был выметен из редакторского кресла. “Пятая колонна” из числа правдивов с энтузиазмом поддержала греков, из-за кулис “очистительным процессом” дирижировали вожди КПРФ. Тут уж впору было согласиться с Виктором Петровичем: и впрямь, “чёрного кобеля не отмоешь добела”. Поражение стало для меня тяжким личным ударом, но и освободило от моральных обязательств перед левыми вождями.

Филиппики в адрес В. Распутина, конечно же, несправедливы. Астафьев ссылается на интервью Валентина Григорьевича, опубликованное в “Правде” в конце декабря 1993 года. Думается, время рассудило их спор, показало, кто из двоих писателей, в прошлом сердечных друзей, был прав в оценке тогдашних событий.

Астафьев рассказывает здесь, как 5 октября 1993 года в “Известиях” появилась его подпись под письмом 42-х, этим гнуснейшим памятником ненависти к восставшему народу и подлого пресмыкательства перед ельцинскими узурпаторами. Фамилия Астафьева стоит последней в списке подписантов, что говорит о том, что письмо это он не читал и согласился поддержать власть заочно. До сих пор неизвестным остаётся имя автора, но стиль и тон письма говорят о том, что, скорее всего, им был кто-то из кремлёвского окружения тогдашнего президента. Расстрел Белого дома на годы отбросил страну назад в своём развитии.

\* \* \*

Но не этим письмом останется Астафьев в памяти читателей. К его творчеству и судьбе будут возвращаться вновь и вновь — залогом тому редкостная сила его писательского дара, масштаб его бескомпромиссной и яркой личности. Неистовый правдоискатель, неудобный и неугомонный человек, чудотворец русского слова, неумолимый труженик, он стоит в ряду тех писателей, кто способствовал славе совестливой и всечеловечной русской литературы.